БлагоДАРение

ВЕЛИКИЙ ГРИМУАР БЕЛОГО ОГНЯ

Девять кругов внутреннего посвящения



I. Книга Печатей

О знаках, наложенных прежде воли

Роман Егоров

Роман Егоров

I. Книга Печатей

«Автор»
2026

Егоров Р.

I. Книга Печатей / Р. Егоров — «Автор», 2026

Первый том «Великого Гримуара Белого Огня», посвящённый древним знакам, наложенным на человека прежде его собственной воли. Здесь раскрываются печати страха, чужого голоса, невидимого суда, ложного имени, запретных порогов и внутренних дверей, скрытых под слоями давних оттисков. Это книга о тех незримых клеймах, что управляют выбором, судьбой и самовосприятием, выдавая неволю за природу. Через язык гримуара, ритуалов и таинств первый том подводит к Ночи распечатывания — к моменту, когда воск трескается и древний знак впервые перестаёт казаться вечным.

© Егоров Р., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Легендарное происхождение Гримуара 6
I. Книга Печатей 9
Глава 1. Печать первого страха 11
Глава 2. Знак, поставленный чужим голосом 14
Конец ознакомительного фрагмента. 15

I. Книга Печатей

БлагоДАРение

Великий Гримуар Белого Огня

Девять кругов внутреннего посвящения

Есть печати, что держат крепче железа. Есть узлы, что не видит глаз. Есть огонь, который не оставляет пепла, но делает зрячим.

Пролог. Легендарное происхождение Гримуара

В те времена, когда железо ещё помнило жар звёзд, а ночь не была отделена от пророчества, в северных пределах Забытого Круга жил Ведьмак, чьё имя не удержалось ни в одном достоверном списке. Одни называли его Хранителем Порога, другие — Тем, кто ходит между печатями, третьи же, не смея произносить ни титула, ни звания, говорили о нём лишь как о Белом Страннике, ибо после его появления даже угли в очаге горели светлее обычного.

О его рождении не сохранилось согласных свидетельств. В одних свитках сказано, что он был найден младенцем у каменного алтаря среди пепла, ещё тёплого после безмолвной грозы. В других — что он пришёл в мир без детства, уже зрелым, в ту ночь, когда над горами взошла бледная комета и три колодца в окрестных землях дали воду, пахнущую полынью и снегом. Были и такие, кто полагал, что он не родился вовсе, а был вызван временем, когда человеческий дух стал забывать собственные глубины и всё чаще кланяться тому, что сам же и сотворил из страха.

Но во всех преданиях сходилось одно: с ранних лет он видел то, чего не замечали другие. Там, где люди говорили о случайности, он различал знак. Там, где видели чужую вину, он распознавал возвращённую тень. Там, где клялись в любви, он слышал нить будущего узла. Там, где имя считали судьбой, он ощущал маску. И если иной знахарь умел лечить травой, а иной колдун — словом, то этот Ведьмак владел искусством более редким и более страшным: он видел, чем именно человек связан с невидимым внутри себя.

Тогда мир уже начал покрываться внутренней ржавчиной. Древние обеты, данные в боли, переходили из рода в род, не называя себя. Чужие голоса оседали в сердцах и принимались за собственную волю. Маски прирастали к лицам, а страх — к памяти. Люди разжигали чёрные огни ради силы, власти, защиты, мести, плодородия, победы над соперником и милости надвигающейся судьбы. Но чем гуще становился дым этих огней, тем труднее было различить, кто именно стоит перед пламенем: живой человек или уже собственная тень, сросшаяся с его дыханием.

Именно в ту пору в старых башнях, у подножий священных скал, в землянках травников, в подземных хранилищах орденов и в домах тех, кто ещё помнил язык ночных звёзд, начали говорить о Белом Огне.

О нём почти никто не знал достоверно. Его не разводили обычной искрой. Он не питался смолой, жиром, маслом или древесиной. Его не носили в чашах. Его нельзя было заключить в лампу, удержать словом, продать властителю или передать по наследству недостойному. Старые летописи упоминали лишь, что Белый Огонь является не как оружие и не как благословение, но как суд без обвинения, как свет без тени, как сила, при которой ложное не выдерживает собственного веса.

Многие искали его как величайшее из таинств. И многие исчезали.

Одни уходили в соляные пустыни, надеясь увидеть Белый Огонь в мареве полудня. Другие спускались в глубины расколотых пещер, где некогда молились древним безликим владыкам. Третьи собирали рукописи, варили масла, чертили круги, смешивали кровь с воском и называли свои жертвы посвящением. Но Белый Огонь не приходил туда, где его желали подчинить.

Тогда Ведьмак покинул обитаемые земли и отправился в Странствие Девяти Порогов — путь, о котором позднее спорили больше, чем о его рождении. Говорили, что он прошёл через Долину Немых Печатей, где скалы были покрыты знаками, не оставлявшими тени на рассвете. Что он переночевал в Лесу Обратных Ликов, где каждый ствол отражал лицо не смотрящего, а скрываемого. Что он развязывал узлы на погребальных ветвях Чёрной Переправы и семь дней держал ладони над огнём, не зажигая его. Что он оставил своё имя на дне колодца, где не было

воды, и пересёк Пустыню Безголосых Птиц, не произнеся ни слова. Что на восьмом пороге он увидел два светила в одном небе, а на девятом вошёл в круг, не имеющий внешней черты.

Никто не знает, сколько длилось это странствие. Для одних — девять лет. Для других — девять зим и одно исчезнувшее лето. Для третьих — один только час, растянутый между двумя ударами сердца. Но когда Ведьмак вернулся, в его волосах был пепел, который не пачкал рук, а в глазах — свет, от которого люди отводили взгляд не из страха, а потому, что слишком многое начинало видеться яснее, чем прежде.

Он не принёс с собой ни трофеев, ни царских грамот, ни посоха из легендарного дерева, ни чаши с бессмертным пламенем. Он принёс девять пустых книг в переплётах из белой кожи, на которых не было ни знаков, ни замков, ни орнамента. И лишь когда первая из них была раскрыта в круге соли, на внутренних листах проступили слова.

Так стало известно, что Белый Огонь не был добыт. Он не явился как награда за выносливость, не был отнят у древних духов и не был открыт как тайна, доступная сильнейшему. Он вошёл в книгу только после того, как всё лишнее оказалось прожжено до прозрачности. Не рука Ведьмака создала Гримуар — рука лишь удержала то, что было позволено записать.

Писал он девять ночей подряд.

В первую ночь в книге проступили Печати — знаки наложенного и унаследованного.

Во вторую явилась Тень — не как враг, но как изгнанный свидетель.

В третью заговорили Зеркала — гладкие, как спокойная вода перед бурей.

В четвёртую легли Узлы — клятвы, сцепления и молчаливые обеты.

В пятую сошло Пламя — не красное, не золотое, но белое, как предел горения.

В шестую открылись Имена — данные, взятые, ношеные, ложные и последние.

В седьмую наступило Безмолвие — не отсутствие звука, но власть несказанного.

В восьмую встретились Два Светила — как если бы день и ночь вспомнили об одном истоке.

В девятую замкнулся Круг — древнейшая из фигур, не обещающая конца, но возвращающая к середине.

Когда была дописана последняя строка, свечи вокруг стола не догорели, но стали прозрачными, словно их пламя вышло за пределы видимого. А наутро Ведьмак созвал тех немногих, кто умел хранить не только написанное, но и умолчание вокруг него. Девять книг были разделены между девятью хранителями, и каждому был дан обет: не прятать Гримуар от достойного, но и не вручать его тому, кто ищет в нём лишь средство усилить собственный морок.

С тех пор книги исчезали и находились вновь. Их видели в монастырских подвалах и в шатрах кочевых гадателей, в личных собраниях королей и под каменными плитами заброшенных часовен, в купеческих сундуках, вынесенных бурей на берег, и в пепелищах, где всё сгорало дотла, кроме одного-единственного переплёта без следов копоти. Несколько раз предпринимались попытки собрать все девять томов вместе, но всякий раз такое собрание совпадало с великими переломами: падением домов, сменой владык, распадом союзов, внезапным прозрением тех, кто слишком долго жил под чужим знаком.

Потому и говорили хранители: Гримуар не любит собираться ради любопытства. Он возвращается целиком лишь тогда, когда время снова требует Белого Огня.

Теперь девять книг вновь лежат рядом.

Печати ожидают прикосновения.

Тени — признания.

Зеркала — взгляда.

Узлы — часа ослабления.

Пламя — того, чему надлежит пройти через него.

Имена — предела своей власти.

Безмолвие — внутренней тишины.

Два Светила — часа встречи.

Круг — того мгновения, когда середина будет узнана.

И если верны самые старые пророчества, Великий Гримуар Белого Огня всегда возвращается в мир накануне великого внутреннего перелома — не мира самого по себе, а взгляда, которым мир удерживается.

I. Книга Печатей

Древние знаки внутренней неволи

Печать сильна не тем, что давит, а тем, что остаётся незамеченной.

Пролог. То, что ложится на человека прежде его имени

Прежде чем человек успевает произнести первое слово о себе, на него уже ложатся знаки. Не те, что начертаны на пергаменте или воске, не те, что ставятся железом, кровью или царской рукой, но иные — более тонкие, более ранние и потому более властные. Они не имеют явного очертания, но именно по ним позднее распознаётся путь, которого человек будто бы сам пожелал; страх, который он назовёт осторожностью; предел, который примет за здравый смысл; боль, которую однажды станет считать своей природой.

Такова природа Печатей: они входят тихо и долго живут под видом очевидного. Их сила не в грубом принуждении, а в незаметности. Там, где насилие ещё может быть узнано и отвергнуто, печать уже прорастает внутрь и устраивает себе место среди мыслей, привычек, выборов и ожиданий. Она не велит открыто — она склоняет. Не требует — а делает одни дороги внутренне дозволенными, а другие почти невозможными. Под её властью человек продолжает считать, будто живёт по собственной воле, хотя сама мера этой воли давно очерчена чужим, древним или однажды принятым нажимом.

Потому Печати никогда не рождаются в один миг. Они складываются там, где жизнь касается существа в час его мягкости. Один взгляд, повторённый изо дня в день, способен лечь глубже крика. Одно молчание может оказаться весомее целой череды приказов. Дом, в котором любовь дышит тревогой, ставит свои знаки иначе, чем дом, где любовь выдаётся лишь за послушание. Род, привыкший выживать, накладывает печати не так, как род, привыкший стыдиться собственной силы. И память боли, даже если о ней больше не говорят вслух, всё равно ищет продолжения в тех, кто приходит позже. Так незримое становится наследуемым, а наследуемое начинает казаться естественным.

Но в глубочайшем смысле Печать есть не только след чужого прикосновения. Она становится по-настоящему сильной лишь тогда, когда человек, ещё не умея различать, принимает наложенное за своё. В этом заключается её древнее колдовство. Она побеждает не тогда, когда оставляет рану, а тогда, когда превращает рану в закон. Она утверждается не тогда, когда причиняет боль, а тогда, когда убеждает внутреннее существо впредь жить так, словно эта боль и есть мера допустимого. С той поры всё начинает выстраиваться вокруг тайного знака. Любовь ищется в пределах его дозволения. Мужество допускается лишь в согласии с ним. Даже надежда учится не выходить дальше невидимого круга.

Оттого многие судьбы, кажущиеся разными, в действительности повторяют один и тот же рисунок. Меняются лица, города, обеты, занятия, времена жизни, но внутренняя вязь остаётся прежней. Человек снова приходит к тем же порогам, снова останавливается там, где остановился бы и прежде, снова выбирает знакомое напряжение вместо незнакомой свободы, снова кланяется тому, что когда-то было вложено в него как условие выживания, принадлежности, любви или оправданности собственного существования. Так Печать перестаёт быть следом прошлого и становится тайным писцом будущего.

Не потому ли древние хранители Белого Огня начинали путь именно отсюда? Ибо всё последующее оказывается скрыто под действием первого знака. Тень не может быть узнана, пока действует печать, запретившая видеть. Зеркало не ответит верно тому, чьё зрение уже

отмечено внутренним клеймом. Узел не будет развязан, если сама его натяжённость принята за долг или добродетель. Имя слишком долго кажется истинным там, где печать заранее очертила границы дозволенного бытия. Даже молчание остаётся лишь пустотой для того, кто и в тишине продолжает слушаться древнего внутреннего приказа.

Потому распознавание Печатей есть не разрушение прошлого, а первое подлинное чтение его тайных письмен. Не война против памяти, но различение её власти. Не отречение от рода, дома, близких или прожитой боли, но медленное узнавание того, что было впечатано в живое существо в часы его ранней податливости. Ибо не всякий знак должен быть сорван насильно. Иной должен быть увиден во всей полноте, чтобы утратить силу. Иной — оплакан. Иной — возвращён тому времени, которому принадлежал. Иной — проведён через Белый Огонь, пока от него не останется лишь знание без прежнего властвования.

В этом и состоит глубинная тайна первой книги Гримуара: она не раскрывает человеку новые силы, но приближает к тому месту, где он впервые начинает видеть, что уже давно действовало в нём безымянно. Всякая неузнанная печать правит как скрытый властитель. Всякий увиденный знак уже трескается по краям. И когда внутренний воск вспоминает, что способен не только хранить оттиск, но и отпускать его, начинается первое истинное движение.

Поэтому Книга Печатей стоит у начала не как книга запретов, а как книга распечатывания. Она касается самых ранних знаков, самых старых оттисков, самых незаметных внутренних договоров, под которыми человек жил, полагая их не наложенным, а собой. Здесь начинается не освобождение как громкое событие, а более древнее и более тихое таинство: различение. Ибо только увидев, что именно лежало на душе прежде имени, можно понять, каким образом была закрыта дверь, которую никто не запирал снаружи.

Глава 1. Печать первого страха

Не всякий страх приходит как крик. Иной входит так рано и так тихо, что позднее его принимают не за гостя, а за собственную кровь.

Прежде прочих печатей на человека ложится та, что не имеет ещё ни имени, ни лица, ни объяснения. Она не рождается из мысли, ибо мысль для неё приходит слишком поздно. Она не является как вывод, решение или осознанный выбор. Она возникает в тот ранний час, когда существо впервые чувствует: мир может не принять, не удержать, не согреть, не ответить, не защитить. И хотя ни слова ещё не сказано, ни договор не заключён, ни клятва не произнесена, внутренний воск уже дрогнул под первым нажимом.

Так возникает Печать первого страха.

Она древнее рассудка. Древнее стыда. Древнее вины. Она предшествует всем тем внутренним письменам, что позже человек будет читать как свою природу. Ибо прежде чем кто-либо научится бояться утраты, отвержения, унижения, одиночества, ошибки, бессилия или собственной глубины, в нём уже поселяется более раннее знание: мир не всегда безопасен, а жизнь не всегда отвечает мягкостью на раскрытость. В этот миг существо не выбирает страх. Оно лишь впервые узнаёт сжатие.

Но именно это сжатие и становится началом многих последующих кругов.

Первый страх редко помнится прямо. Он не живёт в памяти как событие с ясным началом и концом. Чаще он остаётся как климат. Как едва уловимая окраска мира. Как внутреннее предположение, что приближаться опасно, раскрываться рискованно, доверять неосмотрительно, быть живым без меры — слишком дорого. И хотя позже человек обрастает словами, убеждениями, доводами и зрелыми объяснениями, глубинный рисунок уже заложен. Он будет выбирать не только по любви, но и по степени угрозы. Он будет искать не только близости, но и укрытия. Он будет строить не только путь, но и оборону.

В том и состоит тайное владычество первой печати: она не запрещает напрямую, но задаёт изначальную форму движения. Под её знаком одни становятся чрезмерно осторожны, другие — чрезмерно сильны, третьи — чрезмерно нуждающимися, четвёртые — чрезмерно отстранёнными. И всякий полагает, что это просто его характер. Но Великие Ведьмаки Белого Огня знали: характер нередко есть лишь страх, слишком долго носимый как маска.

Ибо первый страх не желает казаться страхом. Он любит переодеваться в добродетель, разумность и судьбу. Он может называться зрелостью, когда на деле есть раннее недоверие. Может выдаваться за независимость, когда в основании его лежит древняя невозможность опереться. Может именовать себя верностью порядку, когда лишь охраняет старую дрожь перед живым. Он умеет надевать самые убедительные маски, потому что был впущен слишком рано и слишком глубоко. И если позднейшие печати ещё можно различить по их словам, то эту узнают по тону всего внутреннего мира.

Не следует думать, будто первый страх непременно рождается из великой беды. Иногда его накладывает не катастрофа, а повторяемость. Не один удар, а множество маленьких неответов. Не явная жестокость, а холод, ставший привычным воздухом. Не громкий запрет, а жизнь среди масок, которые сами уже давно сжались и потому передавали дальше не зло, а свою древнюю настороженность. Страх умеет наследоваться без формулы. Он проходит из дыхания в дыхание, из молчания в молчание, из одного внутреннего уклона в другой, пока однажды не становится чем-то столь обычным, что перестаёт замечаться.

Тогда существо начинает не просто бояться, но строиться вокруг боязни. Оно вырабатывает внутренние коридоры, по которым безопасно двигаться. Оно заранее угадывает, где себя уменьшить, где замереть, где не высовываться, где угодить, где не чувствовать до конца, где

опередить удар, чтобы не быть задетым. Так первый страх превращается в архитектора внутренней обители. И многие позднейшие знаки — стыд, вина, жертвенность, контроль, спасательство, отрешённость, жёсткость к себе и другим — оказываются лишь его разветвлёнными пристройками.

Потому эта глава стоит первой не случайно.

Прежде чем человек распознает чужой голос в себе, он должен услышать то дрожание, на которое этот голос однажды лёг. Прежде чем увидит невидимый суд, он должен узнать, что когда-то уже жил так, словно сам факт его существования нуждается в оправдании. Прежде чем войдёт в ночь распечатывания, он должен встретиться с самым ранним сторожем у внутренних ворот — не с ненавистью, не с враждой, а с тем древним сжатием, из которого позднее вырос весь привычный способ быть в мире.

И всё же тайна первого страха не в том, что он силён, а в том, что он был когда-то спасителен. В миг своего рождения он не был врагом. Он был древней магией выживания. Он собирал существо, когда то не могло вместить происходящее. Он сужал мир до переносимого, когда несуженный мир казался чрезмерным. Он учил угадывать опасность по тени до того, как появился язык для её называния. Он делал то, что умел: охранял живое через сжатие.

И потому нельзя читать эту печать грубо.

Кто пытается сорвать её насилием, лишь умножает её власть. Кто презирает свой страх, тот остаётся связан им. Кто велит себе не бояться, не понимая, что именно когда-то было спасено этим страхом, тот только глубже вдавливает знак в воск. Белый Огонь действует иначе. Он не воюет с первой печатью. Он приближается к ней так, как подходят к древнему стражу забытого порога: с вниманием, с ясностью, с правом видеть её не только как темницу, но и как память о ранней защите.

Ибо приходит час, когда то, что однажды спасало, начинает удерживать дольше нужного. Тогда древнее сжатие перестаёт быть покровом и становится стеной. Тогда человек уже не спасается благодаря печати, а живёт внутри неё. Тогда страх, охранявший хрупкое, не замечает, что хрупкое давно выросло и теперь страдает не от мира самого по себе, а от бесконечного ожидания угрозы. Так страж, которому не сказали, что война окончена, продолжает стеречь пустые ворота и не пускает в город даже весну.

Посему первое таинство этой главы состоит не в победе, а в узнавании. Нужно увидеть, где внутреннее существо по-прежнему склоняется перед старой тревогой, называя это осмотрительностью. Нужно различить, где жизнь уже стучала мягко, а древняя печать всё равно приказывала закрываться. Нужно заметить, где любовь приходила без меча, а человек встречал её в латах. Нужно понять, что некоторые двери никогда не были заперты снаружи — их сторожил самый ранний внутренний страх, давно утративший меру времени.

Когда это различение начинается, печать ещё не падает. Но она впервые перестаёт быть невидимой. А всякий знак, вышедший из тьмы на свет взгляда, уже не властвует так, как прежде. Он ещё действует, но более не царит. Он ещё шепчет, но уже не звучит как единственный голос. И в этом состоит первое трескание воска.

Для сей главы древние хранители употребляли малый обряд, который не совершался ради вызова сил, но ради возвращения взгляда к самому раннему дрожанию.

В час между поздним вечером и полуночью на стол ставили одну свечу светлого воска и чашу с неподвижной водой. Никаких зеркал не требовалось, ибо в первой печати человек ещё не смотрит на себя прямо — он лишь учится выдерживать близость внутренней дрожи, не отворачиваясь. Свечу зажигали без торжественности, как зажигают память, которой наконец позволено стать зримой. Затем ладони клали по обе стороны чаши и некоторое время сидели молча, пока поверхность воды не переставала казаться просто водой и не начинала напоминать ту глубину, где чувства ещё не имеют имён.

После того произносилась формула первого распознавания:

Не изгоняю древнюю дрожь,
но вижу её.
Не кланяюсь раннему страху,
но узнаю его час.
Да станет зримым знак,
что прежде жил без имени.
Да ослабнет власть того,
что было принято за кровь.

Слова эти не ломали печать, но открывали к ней первый проход. А затем хранитель вспоминал не событие, а состояние: где в жизни он до сих пор живёт так, словно миру нельзя доверить даже край своего живого существа. Где сжимается раньше угрозы. Где заранее готовится к отвержению, утрате или холоду. Где путает безопасность с омертвлением. И всякий найденный отклик не требовал осуждения. Лишь узнавания.

Если во время обряда свеча горела ровно, это считали знаком, что страх ещё слишком глубоко смешан с личностью и потому не любит быть увиденным. Если же пламя начинало вздрагивать без ветра, говорили, что воск памяти уже подтаивает. Но самым верным знамением считался не огонь, а внезапная мягкая печаль, приходящая без видимой причины. Ибо часто первой из темницы выходит не сила, а скорбь о том, как долго жизнь была вынуждена сжиматься ради собственного продолжения.

Тогда Ведьмак Белого Огня говорил: не спеши называть это слабостью. Печать первого страха трескается не громом, а жалостью к тому живому, которое слишком рано решило, что мир надлежит встречать настороженно. И если в этот миг не отвернуться от себя, а остаться, древний знак уже не сможет вернуть себе прежнюю безымянную власть.

Так начинается распечатывание.

Не с подвига. Не с отречения. Не с клятвы стать бесстрашным.

А с первого честного взгляда на ту старую дрожь, из которой выросла половина внутреннего мира.

Ибо Белый Огонь приходит не туда, где страха нет, а туда, где страх наконец перестали принимать за неизменную природу.

Глава 2. Знак, поставленный чужим голосом

Не всякий голос уходит, когда умолкают уста. Иной поселяется глубже и начинает звучать как собственная мысль.

После первого страха, ещё безымянного и текучего, на внутренний воск человека начинает ложиться иной знак — более отчётливый, более различимый, но оттого не менее властный. Если ранняя дрожь создаёт почву для сжатия, то чужой голос придаёт этому сжатию форму. Он уже не просто окрашивает мир опасностью, но начинает называть, что в этом мире дозволено, что предосудительно, что желательно, что постыдно, что следует скрыть, чему надлежит повиноваться и где должно остановиться прежде, чем живое существо успеет узнать собственную меру.

Так возникает знак, поставленный чужим голосом.

Он не всегда приходит как крик. Иногда его приносят мягкие слова, повторённые достаточно часто, чтобы стать законом. Иногда он скрывается в заботе, смешанной со страхом. Иногда — в поучении, выдающем себя за мудрость. Иногда — в насмешке, пережившей саму ситуацию и осевшей внутри как внутренний суд. Голос, наложивший печать, может быть суровым, ласковым, разочарованным, холодным, тревожным, благочестивым или усталым. Его власть не в громкости, а в том, что он приходит извне прежде, чем у человека успевает окрепнуть собственное внутреннее звучание.

Поэтому самые глубокие из таких голосов редко ощущаются как чужие. Они входят слишком рано и слишком близко. Они не спорят с существом — они оформляют пространство, в котором существо только ещё собирается возникнуть. Один и тот же ребёнок может услышать, что он слишком громок, слишком слаб, слишком чувствителен, слишком неудобен, слишком медлителен, слишком странен, слишком заметен, слишком нуждающийся или слишком живой. И если слова повторяются в часы, когда душа ещё не умеет отделять внешнее от внутреннего, они перестают быть мнением другого и становятся внутренним правилом существования.

В этом и заключается колдовство чужого голоса: он не просто сообщает что-то о человеке — он предлагает ему форму, в которой тому дозволено жить. Поначалу эта форма кажется временной, потом привычной, а затем естественной. И в какой-то миг сказанное кем-то когда-то перестаёт ощущаться как внушение. Оно начинает звучать изнутри. Так чужое слово, пройдя сквозь раннюю доверчивость или рану, теряет лицо своего источника и обретает новую власть: власть быть услышанным как собственная мысль.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.